

Э. А. К. Васянский

ИММАНУИЛ КАНТ
В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ ЖИЗНИ¹

В декабре 1803-го он уже едва мог написать свое имя. Он так плохо видел, что не мог найти даже ложку, и когда я у него обедал, я размельчал ему еду, клал ее в ложку и давал ее ему в руку. Его неспособность написать собственное имя я себе объяснял так: он больше не видит букв, которые писал, а его память была настолько слаба, что буква, которую он выводил только по ощущению, вновь забывалась, чего не было бы, если бы он ее видел. Диктовать буквы было также бесполезно, потому что ему не хватало воображения, чтобы представить себе их начертание. Уже в конце ноября я увидел в этом судьбу, которая быстро настигала его. Поэтому я уже в это время заполнил квитанции на выплату налогов, которые приходили ему под новый год, и он вывел под ними свое имя еще чисто и правильно. В следующих документах его имя было написано настолько неразборчиво, что я опасался подозрений со стороны высших инстанций в подлинности его подписи. Он решил оформить на меня генеральную доверенность. Подпись под этим актом стала последним росчерком пера, который был сделан рукой *Канта*. Лишь самая острая необходимость вынудила меня к этой мере, но и воспользовался я ею только в самом крайнем случае.

Как бы слаб теперь ни был *Кант*, он все же был еще способен иногда радоваться. Каждый раз он оживлялся при воспоминании о своем дне рождения, и я прилежно отсчитывал для него, как долго еще оставалось до того дня, когда закон-

© Зильбер А. С., пер. с нем., 2013

© Копцев И. Д., редакция пер. с нем., 2013

¹ Продолжение, начало см. в: *Кантовский сборник*. 2012. 1(39). С. 65–78; 2012. 2(40). С. 65–78; 2012. 3(41). С. 89–95; 2012. 4(42). С. 100–114; 2013. 1(43). С. 98–106.

Перевод с немецкого текста Э. А. К. Васянского осуществлен в рамках проекта «Центр переводов и межкультурной коммуникации» Федеральной программы развития БФУ им. И. Канта и выполнен по изданию: *Immanuel Kant: sein Leben in Darstellung von Zeitgenossen / die Boigr. von L. E. Borowski, R. B. Jachmann und E. A. Ch. Wasianski / Hrsg. von F. Gross ; Neudr. der Ausg. Berlin, 1912 / mit einer neuen Einl. von Rudolf Malter. Darmstadt : Wiss. Buchges., 1993. S. 191–271 (Иммануил Кант. Его жизнь в описании современников. Биографии Л. Э. Боровского, Р. Б. Яхмана и Э. А. К. Васянского / под ред. Ф. Гросса ; печ. по Берлинскому изданию 1912 / вступ. ст. Р. Мальтера. Дармштадт : Научное книжное общество, 1993. С. 191–271).*

чится 80-й год его жизни. Так было и за несколько недель до его смерти. Я пытался приободрить его напоминанием об этом. «В этот день, — говорил я, — все Ваши друзья вновь соберутся вокруг Вас и выпьют за Ваше здоровье бокал шампанского». «Это должно произойти сегодня же», — был его ответ; он не успокоился, пока его воля не была исполнена, выпил за здоровье своих друзей и в тот день был довольно весел.

Свойственный ему дар выражаться очень эмоционально, но без аффекта, он сохранил вплоть до глубокой старости. В прежние времена он умел выражаться на удивление ясно и придавать тому, что он хотел сказать, точную интонацию. Этот присущий ему талант нельзя было назвать ни собственно патетической декламацией, ни притворной жестикуляцией. С особенной оживленностью, теплотой и энергией он рассказывал об одном опыте, который сам лично испытал и который очень увлек его. Речь шла о достойном восхищения животном инстинкте, а случай был следующий: одним прохладным летом, когда было мало насекомых, Кант заметил в портовом элеваторе, где хранилась мука, колонию ласточкиных гнезд, а на земле нескольких мертвых птенцов. Удивленный этим случаем, он с величайшим вниманием провел повторное наблюдение и сделал открытие, не проверив сначала своим глазам: ласточки сами выбрасывали из гнезд своих птенцов. Изумившись этому человекоподобному природному инстинкту, который вынуждал ласточек, когда еды для птенцов было недостаточно, жертвовать некоторыми из них, чтобы могли выжить остальные, Кант сказал: «Тут мой рассудок замер, и ничего не оставалось делать, кроме как пасть ниц и поклониться»; и это он произнес неопишущим и с *неподражаемым* образом. Глубокое благоговение, которым светилось его почтенное лицо, интонации голоса, положение его рук, воодушевление, с которым произносились эти слова, — все было неповторимым.

Такое же неподдельное очарование излучало его лицо, когда он с искренним восхищением рассказал, как он однажды держал ласточку в руках и, заглянув ей в глаза, испытал такое чувство, как будто бы он глядел в сами небеса.

Он мог смешно подражать диалектам разных народов. Я мог бы привести здесь очень смешную поговорку на восточный манер, но не буду, как раз потому, что она слишком комична и о ней еще, наверное, помнят его застольные друзья. Он был любитель подобных шуток, и в последние годы своей жизни он сделал в своем дневнике следующую запись: «вино для клиентуры» и «заржавевший хлеб» — с помощью таких выражений француз просил у трактирщика глентвейн и поджаренный хлеб.

Его последний труд и единственная рукопись, в которой речь должна была идти о переходе от метафизики природы к физике, осталась незаконченной. Сколь свободно я мог разговаривать с ним о его смерти и обо всем том, что он хотел, чтобы я сделал после его смерти, столь же неохотно, как казалось, он объяснял, что следует мне сделать с этой рукописью. То ему стало казаться, так как он сам уже не мог оценивать написанное, что она уже завершена и требовала лишь заключительной шлифовки; то он велел, чтобы после смерти она была сожжена. Я вынес ее на суд его друга г-на Н. Р. S.² — ученого, которого Кант называл наряду с собой лучшим интерпретатором своих трудов. Его суждение сводилось к тому, что это только начало некоего труда, введение к которому еще не завершено и не под-

² Hofprediger Johann (Friedrich) Schultz (1739–1805) — «придворный проповедник» пастор Шульд.

дается редактированию. Напряжение, потребовавшееся от *Канта* при разработке этого труда, ускорило истощение остатка его сил. Он считал его важнейшим из своих трудов; но, вероятно, на эту оценку сильно повлияла его немощь.

В последние недели своей жизни *Кант* выражался очень иносказательно. С 8 октября он больше не спал в своей прежней спальне. Так как в ней была зеленая печь, он вместо выражения «пойти спать» говорил «пойти к зеленой печи». Заметим, что великий мыслитель был больше не способен понять язык обыденной жизни. За его столом, где прежде царило живое и благопристойное общение, теперь часто стояла приглушенная тишина. Ему было неприятно, когда его гости начинали общаться друг с другом, а ему отводилась роль молчаливого участника; но втянуть в разговор его самого было также трудно, потому что его слух, некогда столь чуткий, также начинал ослабевать, и выражался он, даже если думал достаточно правильно, очень непонятно. Несколько примеров этого не умалят здесь его величия; пересказ их требует, правда, использования выражений, взятых из самой обыденной жизни. Мое намерение показать, как выражался великий человек в конце жизни, послужит, пожалуй, извинением, если я их приведу и употреблю. Он говорил очень иносказательно; но при всем несовершенстве его речи в ней было совершенно особое сходство между словами и вещами, которые они обозначали. Когда речь за столом зашла о высадке французов в Англии, в этом разговоре использовались слова «море» и «суша». *Кант* сказал (не шутя), что в его тарелке слишком много моря и не хватает суши; этим он имел в виду, что у него в тарелке было слишком мало гуши и много жидкости. В другой раз во время обеда, когда ему подавались печеные овощи с пудингом, порезанные на маленькие неравные кусочки, он говорил, что ему нужна форма, определенная форма. Это означало, что овощи должны быть более равномерно порезаны.

Необходимо было ежедневное общение с ним, чтобы понимать весь этот иносказательный язык, но все же нельзя было полностью отрицать наличия определенной остроты ума: она все еще продолжала присутствовать. Когда в период его наибольшей слабости — он уже не мог внятно высказаться о простейших вещах — его спрашивали о предметах физической географии, естественной истории или химии, то он еще даже после 8 октября давал удивительно четкие и правильные ответы. Виды и состав газов были ему настолько хорошо известны, что даже в последнюю пору его жизни можно было говорить с ним об этом и оставаться в полном удовлетворении от его объяснений. О подвиге Кеплера он мог рассказать даже в состоянии наибольшей слабости. В последний понедельник его жизни, когда его слабость, к глубочайшему огорчению его друзей, прямо-таки бросалась в глаза, и он уже ничего не мог понять из того, о чем с ним говорили, я тихо сказал одному из его застольных друзей следующее: я могу заговорить с ним только на научные темы, и я ручаюсь, что *Кант* все поймет и вступит в беседу. Другому его другу это показалось невероятным. Я предпринял попытку и спросил у *Канта* что-то о берберах. Он кратко описал их образ жизни и заметил при этом, что в слове Алжир (Algier) букву «ж» следовало бы произносить как «г».

Занятия *Канта* в последние две недели его жизни были не просто бессмысленными, но бесполезными. Необходимо было каждую минуту по несколько раз снимать и перевязывать шейный платок. То же самое происходило и с платком, которым он уже много лет подвязывал свой халат. Едва закрепив его, он снова с нетерпением его развязывал и тут же снова завязывал.

вал. Было ли это явление следствием нетерпения, судороги или выражением боли, ощущать которую его нервная система могла лишь притупленно? Это пусть решает врач или физиолог; однако одно только описание дает лишь слабое представление о том рвении, с которым Кант, словно он занимается важнейшими делами, неустанно распахивал и снова запахивал свою одежду.

Он перестал узнавать всех тех, кто его окружал. Сначала эта участь постигла его сестру, затем меня и, наконец, его слугу; мне больно было смотреть на эту столь глубокую степень его немощи. Избалованный его прежде таким любезным обхождением со мной, я едва мог переносить его теперешнее безразличие ко мне, хотя и понимал, что он не лишил меня своей благосклонности. И тем радостнее были для меня мгновения, когда сознание к нему возвращалось; печально было лишь то, что эти моменты стали редкими. Для каждого из его сограждан было трогательно и печально лицезреть его в состоянии беспомощности. Человек, который привык постоянно работать, избегавший любого комфорта, который большую часть своей жизни провел на обычном стуле, едва ли мог уютно чувствовать себя в кресле с подушками. Сгорбленный, ушедший в себя, сидел он теперь за столом, не способный участвовать в разговорах друзей; а под конец и не претендуя на то, чтобы его развлекали. Он, который так поучительно и приятно общался в больших собраниях знатнейших и учнейших мужей, не мог теперь понять обычные разговоры и повторялся. Один ученый из Берлина, который проездом навестил его в предпоследнее лето, сказал после этого следующее: он видел не *Канта*, а только то, что осталось от *Канта*; а ведь каким был Кант тогда, и каким — теперь?

Наступил февраль, о котором он сказал, как было замечено выше, что в нем, ввиду меньшего количества дней, меньше и переносимые им тяготы. Но именно в том феврале ему выпало нести самый тяжелый в его жизни груз. Но для него этот месяц длился лишь 12 дней. Его тело, — о котором он прежде говорил, что это минимум, вынесенный из голодного времени, и которое он называл «мое несчастье», — исхудало чрезвычайно. Хотя смерть не знает градаций, о Канте можно было бы сказать, что за несколько дней до своей кончины он был уже наполовину мертв. Его органы уже едва ли функционировали, и все-таки еще бывали мгновения, когда он был в сознании и предавался размышлениям.

Третьего февраля все жизненные силы в нем казались совершенно ослабленными и полностью отказавшимися функционировать, так как с этого дня он, собственно, ничего больше не ел. Его существование казалось всего лишь результатом инерции 80-летнего движения. Его врач договорился со мной о том, что будет посещать его в определенные часы, и при этом было желательно мое присутствие. Я не знаю, помнил или забыл *Кант* о том, что я сказал ему, а именно: его врач великодушно отказался от всякого вознаграждения, а то, что уже было ему выплачено, вернул с очень трогательной запиской. Достаточно было уже того, что *Кант* был глубоко проникнут чувством уважения и благодарности к своему коллеге. Когда тот посетил его за девять дней до смерти, а *Кант* почти ничего не видел, я сказал ему, что пришел его врач. *Кант* поднялся со стула, протянул доктору руку и сказал при этом о *должности (Posten)*, часто повторяя это слово таким тоном, будто он просит о помощи. Врач успокаивает его тем, что на почте (Post) все заказано, полагая эти слова плодом его фантазии. А *Кант* продолжает: много *должностей, тяжелых должностей*, потом вскоре *большая доброта*, и после этого *благодарность*, — все несвязно, но с возрастающей тепло-

той и с все более просветленным сознанием. Однако я тотчас понял, что он имел в виду. Он хотел сказать, что при такой большой занятости, особенно в ректорате, со стороны доктора является большой любезностью то, что он его посещает. «Именно так», — был ответ *Канта*, который все это время стоял и чуть не падал от слабости. Врач просит его сесть. Кант смущенно медлил, испытывая беспокойство. Я был слишком хорошо знаком с его образом мыслей, чтобы ошибиться в истинной причине этого промедления, из-за которой *Кант* не менял своего положения, утомлявшего и ослаблявшего его. Я обратил внимание врача на эту истинную причину, а именно: деликатную манеру мыслей и вежливое поведение *Канта*, и уверил его, что *Кант* сразу же сядет, как только он как гость первым займет свое место. Врач, видимо, усомнился в этой причине, но вскоре убедился в истинности моего суждения и был тронут почти до слез, когда *Кант*, собравшись с силами, вынужденно громко произнес: *Чувство человечности меня еще не покинуло!* «Какой благородный, интеллигентный и добрый человек!» — воскликнули мы почти одновременно.

Было время обеда и врач нас покинул. Пришел второй гость. Судя по тому, что я услышал, я ожидал поистине радостного обеда, но напрасно. Кант уже несколько недель находил все блюда безвкусными. Я пытался улучшить их вкусовые качества безвредными приправами, такими, как мускатный орех или корица, в зависимости от блюда. Эффект был коротким и преходящим. В тот день ничего не помогало, ложка с едой бралась в рот, но еда не проглатывалась, а возвращалась назад. Даже его любимые легкие закуски, бисквит, булочные крошки, — ничто для него не было вкусным. От него самого я раньше слышал, что некоторые его знакомые, умершие в маразме, хотя совершенно не чувствовали боли, в течение 3—5 дней не могли ни есть, ни спать, а затем тихо умирали во сне. Я опасался, что нечто подобное произойдет и с ним. В следующую субботу я с сожалением услышал от его застольных друзей откровенно выраженное сомнение в том, следует ли им теперь с ним обедать, и присоединился к их мнению. В воскресенье 5 февраля мы обедали вместе с его другом г-ном R. R. V³. *Кант* был настолько слаб, что совершенно изнемог. За столом я подложил под него подушку, так как он клонился в одну сторону, и сказал: «Теперь все в полном порядке». «*Testudine et Facie*⁴, — промолвил Кант, — «как в боевом построении». Нам это выражение показалось совершенно неожиданным, впрочем, оно было последним произнесенным им выражением по-латыни. Он снова ничего не съел, участь пищи была той же самой, что и в предыдущие два дня. В понедельник, 6 февраля, он был еще намного слабее и бесчувственней; уйдя глубоко в себя, он сидел с неподвижным взглядом, ничего не произнося. Он, не принимавший никакого участия в разговорах, казался нам совершенно отсутствующим, и только тень его еще была среди нас; однако порою, когда речь заходила о вещах научных, он подавал знаки своего присутствия.

С этого времени Кант стал намного спокойнее и мягче. С самых ранних времен борьбы между его мощным интеллектом и добрым нравом, с одной стороны, и все более приближающейся старостью — с другой, *Кант* был уже пресыщен жизнью и всеми ее радостями, ничего уже не мог поделить с собой и своим временем и был не в состоянии ясно выразиться. Поэтому он получал вещи, которых не хотел, и был лишен некоторых из тех,

³ Regierungsrat Johann Friedrich Vigilantius.

⁴ Наподобие черепахи (лат.)

которые хотел бы иметь, но не мог назвать. Эти недоразумения приводили к тому, что он выражал свои просьбы слишком напористо и такими словами, которые он раньше считал бы плебейскими. Человек, который в прежние годы даже наедине с собой мыслил настолько изысканно и гуманно, что если он в записках, которые едва ли могли прочесть другие, кроме него самого, обращался к своим друзьям с просьбой об одолжении, то выражал это не иначе, как: «Г-на N.N. просим оказать любезность и т.д. ...», — такой человек, разумеется, заслуживает снисхождения в том, что в своем преклонном возрасте он придавал своим обращениям, не хочу сказать грубую, но несколько резкую форму. Они были всего лишь менее отшлифованы внешне, но никогда не содержали в себе злобы. Борьба его сущности с его возрастом была причиной некоторой, хотя всегда ограниченной, вспыльчивости; теперь, когда его силы полностью иссякли, вспыльчивость исчезла, как и в любом химическом процессе такого рода. Вспылит он иногда на своего слугу — но в ту же минуту вновь все успокоится. По нему было слишком хорошо видно, что ни с чем в мире он не мог так легко справиться, как с гневом. Ему это настолько удавалось, что было очевидно, что он совершенно не привык к этой неестественной для него роли. Желание позлиться и неспособность сделать это придавали ему особый род любезности. Ибо к глубоко проникновенным чертам добродушия на его мягком дружелюбном лице никак не шло выражение негодования. Слуга его прекрасно знал, как хозяин к нему относится и чего ему ожидать от этого мимолетного гнева. Но в последние дни его жизни не было заметно и следа того недовольства, которое имело место несколько месяцев тому назад.

Теперь я приходил к нему трижды в день, в том числе во время еды, и во вторник 7 февраля застал обоих его сотрапезников за столом одних, а *Канту* в постели. Это явление было новым и приумножило наши опасения, что его кончина, быть может, уже недалеко. Я еще не осмелился оставить его на следующий день без компании на обед, — ведь он столько раз выздоравливал, — заказал только суп и собрался быть его единственным сотрапезником. Явившись в час дня, я уговорил его и велел подавать на стол. Он, как стало уже обычным с 3-го февраля, взял ложку с супом в рот, но не удержал ее, а поспешил в кровать и больше с нее не вставал, за исключением тех минут, когда ему нужно было справить нужду.

В четверг, 9 февраля, он совершенно обессилел и был уже отмечен печатью смерти. Я часто посещал его в этот день, пришел вечером около 10 часов и нашел его в бессознательном состоянии. Он не отвечал ни на какие вопросы. Я покинул его, так и не получив ни одного знака о том, что он узнает меня, и оставил его на попечение обоих его родственников и слуги.

В пятницу, в 6 часов утра, я снова к нему пришел. Утро было ненастным, и за ночь выпало много снега. Той ночью воры взломали хозяйственные постройки в его дворе, чтобы через них проникнуть в дом его соседа, золотых дел мастера. Подойдя к кровати, я пожелал Канту доброго утра. Невнятно и надломленным голосом он ответил мне так же: «Доброе утро». Я был рад видеть его снова в сознании, спросил, узнает ли он еще меня, он ответил: «Да», протянул руку и нежно погладил меня по щеке. Во время других моих посещений в тот день он, казалось, был без сознания.

В субботу, 11-го февраля, он лежал с отсутствующим взором и казался спокойным. Я спросил, узнает ли он меня? Он не смог ответить и подставил губы для поцелуя. Глубоко потрясенный, я оцепенел, а он еще раз протя-

нул ко мне свои бледные губы. Могу почти уверенно предположить, что таким образом он прощался со мной и благодарил за многолетнюю дружбу и помощь. Не знаю, предлагал ли он поцелуй кому-то из своих друзей, по крайней мере, я не видел, чтобы он кого-то из них целовал. Меня — тоже никогда, разве что за несколько недель до своей смерти, когда он поцеловал меня и свою сестру. Но тогда мне казалось, что он из-за слабости не отдавал себе отчета в том, что делает. Судя по всем обстоятельствам, я склонен понимать его последнее предложение поцелуя как истинный знак той дружбы, которую вскоре должна была оборвать смерть. И этот поцелуй был последним знаком того, что он меня узнавал.

Питье, которое ему часто давали, глоталось теперь тяжело и с шумом, как это часто бывает у умирающих; все признаки приближавшейся смерти были налицо. Это была зловещая картина: на смертном одре великий человек, освещенный слабыми лучами заходящего солнца.

Мне хотелось дожидаться его кончины, и поскольку я был свидетелем части его жизни, хотел стать также свидетелем его смерти; поэтому от его смертного одра меня отлучали только мои служебные дела. Так как по всем признакам и по заключениям врача, который теперь ежедневно его посещал, я знал о том, что его жизнь спешила навстречу своему окончанию, я решил оставаться с ним столько, сколько было возможно, дать ему дружеской рукой последнее утешение и закрыть ему глаза. В последнюю ночь я оставался у его постели. День он провел без сознания, а в последний вечер все же еще подал внятный знак того, что по понятным причинам должен покинуть постель, но его тревога об этом была напрасной, и его в последний раз донесли до постели, которую за время его отсутствия с величайшей поспешностью привели в порядок, и уложили в нее. Его сил уже не хватало даже для малейшего действия. Он не спал, его состояние было больше оцепенением, чем слабостью. Ложку, наполненную питьем, которую ему подавали, он часто отвергал, но около часа ночи сам наклонился за ней. Из этого я заключил о его жажде и дал ему подслащенную смесь из вина и воды. Он вытянул губы к стакану, но так как из-за слабости не мог удерживать напиток ртом, я прикрывал ему рот рукой, пока питье с шумом проходило. Казалось, он хотел еще; я снова подносил питье вплоть до того, когда он, подкрепленный, смог сказать, хотя и невнятно, но для меня еще понятно: «Теперь хорошо». Это были его последние слова. Несколько раз он сбрасывал одеяло из гагачьего пуха и оголялся. Но я старался чаще накрывать его, боясь переохлаждения. Все его тело и конечности уже были холодными, пульс прерывался.

Двенадцатого, без четверти 4 утра, он лег так, как будто готовился к приближению предстоящего великого акта своей смерти и привел свое тело в такое положение, в котором он обычно засыпал, и до самой смерти уже не менял его. Пульс не прощупывался ни на руках и ногах, ни на шее. Я проверил каждое место, где он мог быть, и обнаружил его только на левом бедре — прерывистый, слабый и часто пропадавший.

В 10 часов утра его облик заметно изменился: взор был абсолютно неподвижный и угасший, мертвенно бледными стали лицо и губы, но не было заметно ни капли холодного предсмертного пота. Его меры по предотвращению потоотделения продолжали действовать до самой смерти. Около 11 часов было похоже, что последнее мгновение его жизни уже близко. Его сестра стояла у кровати в ногах, ее сын — у изголовья. Я же, чтобы внимательно его наблюдать и прощупывать пульс на бедре, стоял на кровати

на коленях, потому что его сгорбленная от возраста поза мешала мне стоя видеть его лицо. Я позвал его слугу быть свидетелем смерти его доброго господина. Настали минуты остановки жизненных процессов. В это время в комнату вошел его замечательный друг г-н R. R. V., которого я как раз хотел позвать. Дыхание ослабело, сбилось, вдох не удался, верхняя губа едва заметно задрожала, последовал слабый, тихий вдох, уже последний; пульс бился еще несколько секунд, все медленнее и слабее, и уже не чувствовался — механизм остановился и последнее движение в машине завершилась. Его смерть была прекращением жизни, а не насильственным актом природы. В ту самую минуту часы пробили 11. Все попытки обнаружить еще хотя бы какой-то след жизни были безуспешны, все указывало на его смерть. Чувство, охватившее его друга и меня, было неопишимо и ни на что не похоже. Я не сразу смог избавиться от иллюзорного ощущения в руке, будто еще улавливал и чувствовал его пульс.

В то же мгновение, едва *Кант* испустил дух, в комнату вошел его врач и после надлежащего осмотра удостоверил его смерть. Извещение о его смерти взял на себя я и с тоской в сердце пошел домой, так как приближалось время исполнения моих служебных обязанностей. Во время моего отсутствия тело *Канта* лежало на кровати, полностью укрытое. Сотрапезник *Канта* и его родственники взяли на себя наблюдение за тем, не появятся ли какие-то признаки жизни. К моему приходу не заметили ни одного. Голова его была обстрижена и тем самым подготовлена к снятию гипсового слепка, который сделал господин проф. *Кнорре*⁵. Его череп, по общему мнению тех, кто не был посвящен в тайны природы, постигавшиеся *Галлем*⁶, имел очень правильную форму. Слепок был снят не только с его лица, но и со всей головы, так что, возможно, собрание черепов д-ра *Галля* могло бы быть пополнено слепком этого черепа.

Тело *Канта*, облаченное в последние одежды, поместили в той комнате, где была его столовая. Множество людей из высших и низших слоев стремились увидеть оболочку, которая заключала в себе великий дух *Канта*. Насколько тщательно я прежде старался выполнять настоятельную просьбу *Канта* о том, чтобы препятствовать любому непрошенному вторжению людей, зачастую незнакомых ему, влекомых лишь любопытством, дабы избавить его от мучительного для него нарушения его покоя; настолько теперь я считал несправедливым запретить хоть кому-то доступ к его останкам. Все торопились использовать последнюю возможность, чтобы когда-нибудь сказать: «Я видел *Канта*». Паломничество к нему длилось в течение многих дней и в любое время дня. С утра до позднего вечера комната то больше, то меньше была заполнена посетителями. Многие приходили снова, дважды и трижды, и даже по истечению нескольких дней желание видеть его еще не было полностью утолено⁷. Так как никто не рассчитывал на то, чтобы выставлять тело на обозрение, но так как многие сюда устремились, мне хотелось не упустить ничего из того, что требовалось приличием. Я распорядился взять в аренду траурное покрывало, чтобы положить на него тело. Заведение, у которого я его арендовал, обычно получало

⁵ Andreas Johann Friedrich Knorre (1763–1841) — первый преподаватель кёнигсбергской школы искусств, иллюстратор и портретист.

⁶ Franz Joseph Gall (1758–1828) — австрийский врач, исследователь строения мозга.

⁷ Стояли сильные морозы, помещение не отапливалось. Похороны *Канта* прошли через 16 дней после его смерти — 28 февраля.

за него талер в день. Вдобавок к нему было красивое белое одеяло с широкой бахромой по краям, и хозяйева просили за обе вещи всего лишь по гультену в день, со словами: потому что это для *Канта*.

К ногам *Канта* один поэт положил стихотворение с заглавием: душе⁸ *Канта*. Наверное, оно было красивым; но ни я, ни мои друзья и знакомые не могли понять его возвышенный слог. Однако оно все же было написано с добрыми намерениями, и та скромность, с которой оно было возложено, делала этому поэту тем больше чести.

Совершенно иссохшее тело *Канта* вызывало изумление, и все сходились во мнении, что столь сильную степень истощения редко можно встретить.

Той подушке, на которой студенты однажды преподнесли ему стихотворение, я едва ли мог найти лучшее и более почетное применение, чем подложить ее ему под голову и так его похоронить.

Пожелания о церемонии своих похорон Кант несколько лет назад изложил на листе в октаву⁹. Он хотел быть погребенным рано утром в полной тишине, в присутствии только своих друзей. Я нашел эту запись, когда знакомился с его бумагами. Я открыто выразил свое мнение, что это предписание слишком сильно стеснило бы меня как организатора похорон; что обстоятельства, которые невозможно предвидеть заранее, могут ввести меня в затруднение. *Кант*, собственно, не придавал этой записке ни малейшего значения, разорвал ее и возложил заботу о своем погребении всецело на меня, ничего не определяя. Больше речь об этом никогда не заходила. Было легко предвидеть, что студентам будет непросто отказать в воздании ему посмертных почестей. Это предположение подтвердилось выше всякого ожидания, и такой траурной процессии, в которой объединились исключительные знаки всеобщего уважения, церемониальная пышность и вкус, жители Кенигсберга еще никогда не видели. Уже одни только газетные публикации, а тем более специальный листок, придали похоронам *Канта* необычайную известность. Здесь уже одной краткой заметки будет достаточно, чтобы в полной мере показать, насколько все стремились воздать почести праху *Канта*. Двадцать восьмого февраля, в 2 часа пополудни, все высокопоставленные персоны не только города, но и соседних мест, собрались в замковой церкви, чтобы провожать его останки до могилы. Университетская молодежь, одетая для этого торжественного шествия с большим вкусом, отправилась с университетской площади, и процессия из замковой церкви присоединилась к ней. Когда все они подошли к дому покойного, его останки были встречены под звон *всех* колоколов города. Нескончаемый поток, без соблюдения какой-либо иерархии, направился в сопровождении тысяч людей к Кафедральному собору. Он был освещен несколькими сотнями восковых свечей. Катафалк, обитый черной тканью, выглядел величественно. Превосходно исполненная кантата и две речи вызвали возвышенное чувство у всех присутствующих. Во время одной из речей куратору университета была преподнесена эпитафия от студентов. С величайшей торжественностью бранные останки *Канта* были преданы земле в университетском склепе, где его прах отныне будет покоиться вместе с останками других ушедших мужей академии. Мир праху его!

Перевод А. С. Зильбера под ред. И. Д. Концева

⁸ В оригинале «Den Manen *Kants*». Маны - души умерших предков, почитавшиеся как божества (римск. миф.)

⁹ Формат бумаги в восьмую долю листа.

О переводчиках

Андрей Сергеевич Зильбер – ст. преп. кафедры философии и культурологии Калининградского государственного технического университета, a-zilb@ya.ru

Иван Демьянович Копцев – д-р филол. наук., проф. кафедры теории языка и межкультурной коммуникации БФУ им. И. Канта, ivan.kopcev@mail.ru

About the translators

Andrey Zilber – senior teacher, Department of Philosophy and Culturology, Kaliningrad State Technical University, a-zilb@ya.ru

Prof. Ivan Koptsev, Department of Language Theory and Cross-Cultural Communication, Immanuel Kant Baltic Federal University, ivan.kopcev@mail.ru